

зная о вчерашнем, жёстко вёл встречу. Однако Астафьев держался так же свободно, говорил столь же определённо на темы, которые не принято было поднимать (о преступности, бомжах), затрагивал вопросы больные, на которые многие закрывали глаза ...

В сентябре 82-го (за два месяца до Астафьева) в Томске прошёл суд на трем "читателями и распространителями антисоветчины". Суд был открытый, власть показывала свои возможности тем, кто пока ещё сидел отдельно от подсудимых. Совсем незадолго до этого, в 80-м, нас — некоторую группку — "попинали" с работ за чтение самиздата. Было мерзко, было печально, но "исправляться" не хотелось. Оставалось... ну, собственно, оставаться самим собой. Не бороться, но и не подличать, не поддерживать этих, не заискивать перед ними. Конечно, мне, скажем, помогали имена Сахарова, Солженицына, Буковского, Марченко. Но когда вот так — рядом — живой голос... Сейчас это трудно объяснить, особенно новой публике. Не раз и не пять в "года глухие", в разных компаниях мы ставили на магнитофон эту пленку и подзаряжались (если это слово ещё не скомпрометировано) достоинством, внутренней свободой нашего соседа-сибиряка.

Летом 93-го года, узнав о том, что готовится новое собрание сочинений В. П. Астафьева, я перепечатал его выступление перед творческими работниками Томска и отправил ему, приписав, что, может быть, оно найдёт место в этом собрании. Ответ пришел через две недели. Истинно астафьевский ответ: "Думаю, в собрание сочинений включать не стоит — оно не для говорливых тем создаётся, тем более, что говорильни этой, как я ни упирался, за жизнь накопилось лишка. Желаю доброго здоровья и дел по душе. В. Астафьев, село Овсянка".

Нередко вспоминая Виктора Петровича, я всякий раз желаю доброго здоровья честному человеку и хорошему писателю.

В. П. Астафьев

Выступление перед творческими работниками Томска (ноябрь 1982 года)

В 45-ом году я женился, совершил такой поступок, который Богом предопределён. Было мне двадцать лет, жене — двадцать лет. В 45-ом году после госпиталя я женился, жена оказалась с Урала, ехать мне в Сибирь в общем-то некуда было, это сейчас вы — хотя бы часть из вас — рады меня видеть. По моему, в 45-м году никто бы не обрадовался и никто бы не заметил, что я приехал, поэтому поехали на родину жены, и я 24 года прожил на Урале. Из них 19 — самые молодые годы, самые трудные — были прожиты в городе Чусовом на Урале, городишке маленьком, дымном, рабочем, тёмном. Там родились дети и выросли, там остались молодые годы, и там я переживал всё, что наш дорогой генералиссимус и наши дорогие маршалы предоставили нам: возможность после войны или погибнуть или выжить. Мы с женой выжили. Многие погибли в этой страшной борьбе с нуждой, выброшенные, по существу, на помойку, забытые всеми. Через 20 лет о нас вспомнили, что есть инвалиды, те, кто воевал. И дали нам медали в честь 20-летия и разрешили написать в сборниках о том, что мы были.

Там с женой мы похоронили первого ребёнка, потому что его кормить нечем было. Там прожили мы и на улице, и в голоде, и в холоде, но выстояли. Жена у меня тоже пирующий человек, очень хороший человек, жизнестойкий, из рабочей семьи. Их было в семье 9

человек, отец был сцепщик вагонов. В общем, крепкая оказалась кость, и мы всё-таки эту дорогую действительность как-то переломили.

18 лет в Чусовом, и после окончания Высших литературных курсов несколько лет в Перми, и 11 лет в Вологде я прожил и наконец понял, что любить родину, любить несколько болезненно, притчева-то, как я люблю, издалека хорошо, а ближе ещё лучше, и на старости лет нужно быть дома, доживать свои дни дома. И, может быть, меня в этом убедила истовая какая-то любовь и привязанность к семье вологжан-литераторов. Сама по себе вологодская земля, она хороша на картинках, открытках, в кино. На самом деле это болотистая, ольховая, очень пустынная земля. И тем не менее ребята её так умеют воспевать, что я порой поражался, как из этого, почти убогого, пейзажа высекается такая прекрасная панорама, такое слово, как у Василия Ивановича Белова, Ольги Фокиной, Коли Рубцова, Саши Романова, Вити Каратаева ... И я понял, что всегда завидовал им, когда сидел с ними и меня уже называли вологжанином. Никогда я себя не чувствовал вологжанином, конечно. Принадлежность к своей земле — это ещё, кроме всего прочего, и огромное счастье какое-то.

Ну вот, три года уже как я сибиряк, в родном селе у меня есть изба, в Академгородке есть квартира. Со мной жена. И дети, и внуки, к сожалению, остались в Вологде. Сын у меня работает в реставрационных мастерских древнего искусства. Образовались такие мастерские по реставрации икон и по учёту ценностей, которые находятся у нас в недобитых церквях, недоразорённых. Они совместно, коллективом вскрыли из-под записей такую иконку в полстола. Там какой-то святой изображён, я, как всякий чалдон, очень слабо в этом разбираюсь. Во всяком случае, сейчас составлен паспорт, и эта икона стоит 11 с чем-то миллионов. Поэтому сын и не мог со мной поехать.

А мы с женой в Красноярске, сибиряками стали. У меня ощущение такое, что я никуда и не уезжал, да, может, и сказывается, что я каждое лето, иногда не по разу, а если кто-нибудь помрёт, то и по два раза приезжал в Сибирь, или свадьба какая ... И какой-то отторженности большой я не чувствовал. Потом, я всё время писал про Сибирь. Был такой совершенно чудный человек — мне везло на них — Борис Никандрович Назаровский, он родом омич, потом в силу разных обстоятельств попал в Пермь. Там всю жизнь прожил, был в друзьях с Каменским, Гайдаром, их там целая хартия была, потом стал главным редактором издательства. Я как раз начинал писать, что-то там попытался по молодости лет, — квасной, местный патриотизм же, он паче гордости. Живёшь в Вологде — каждый читатель спрашивает: когда вы будете писать о вологжанах? Живёшь на Урале, вроде уральскую картошку жрёшь, а пишешь про Сибирь — тоже нехорошо. Вот я пытался писать про уральцев, на уральском материале. И Борис Никандрыч мне сказал: “Виктор Петрович, миленький ты мой, не надо, не делай ты этого, не трать своих усилий, не того ты склада человек. У тебя все уральцы, которых ты тут изображаешь, всё равно думают и говорят по-сибирски”. Совет был вовремя сделан, и как-то я, в общем, на этом и остановился. Пусть земля пухом будет этому человеку, благодаря которому я не растратил творческой энергии на пустяки, на потрафление начальству. Они очень любят, чтоб писали про стахановцев. Часто очень путают вообще профессию писателя с журналистикой, вообще часто не разграничивают их.

Таким образом как-то мне удалось, живя на Урале и в Вологде, сохранить приверженность и преданность родной земле. Но как Пуш-

кин говорил, — всё ж к родимому пределу... После “Царь-рыбы” — книги очень для меня чудной и сложной, совершенно для меня неожиданно получившей такой резонанс... Она мне просто надоела, мне хотелось её поскорее издать и избавиться от неё. Книги, как и судьбы человеческие, они тоже каждая по отдельности, ни одна книга так трудно не писалась, как “Царь-рыба”, Конечно, какой-то центральный замысел у меня был. Может быть, та мысль, которая занимает многих и подспудно занимала меня. Двадцатый век — период активной урбанизации, в тридцатые годы наши комсомольцы с факелами бегали, кричали, что сейчас все объединятся, пойдут на фабрики и станут счастливые. И когда мы сбежались в города, почему человечество постигло такое одиночество? Вопрос, по-моему, заставший врасплох человеческое общество, и наше общество, в частности, поскольку мы считали всегда, что мы общество трудовое, прогрессивное. Мы, собственно, ради этого революцию делали, чтобы объединиться в дружный коллектив. И вдруг почувствовалось какое-то разобщение, я бы сказал, даже враждебность. Вопросы сложные, вопросы, которые не могут не задевать думающего человека, и в какой-то мере занимают они меня. Те, — кто трактуют “Царь-рыбу” как экологическое произведение, очень заблуждаются, это поверхностное прочтение книги. Я не стал бы писать о том, как браконьеры бегают за егерями, егеря за браконьерами. Мне хотелось написать книгу и поставить вопрос: почему в этом мире человек так одинок? Кто внимательно читал книгу, поймёт, что вся она пронизана этой мыслью.

Случилось так, что “Царь-рыба” шла в трёх номерах “Нашего современника”. Первый номер прошёл ничего, второй пошёл с зацепками, а я в больнице лежал, началась правка по телефону. Прохождение очень сложное, вымотавшее последние силы и нервы, и когда, наконец, её напечатали, я сказал: “Слава тебе, Господи, я этим делом больше заниматься не буду. Не буду больше писать вообще”. Бывает такое настроение. Но поскольку есть такая совершенно неизлечимая болезнь — графомания, то, конечно, через какое-то время я снова сел за стол и заполнил паузу тем, что написал две пьесы, поучаствовал в съёмках фильмов и как-то восстановился, воспрянул.

Я никогда не веду дневников и записных книжек, делаю лишь наброски, зарисовки, и это где-то там в папках лежит. И постепенно накопилась книга. В 72-м я издавал её в “Советском писателе”, она называлась “Затеси”, и сейчас переиздал её в Красноярске под тем же названием, но тогда затесей было 34, сейчас их 104. Это даёт возможность как-то выговориться, поразмышлять.

Я работаю над новым современным романом, небольшим. И мне потребовалось в прошлом году сходить в вытрезвители, тюрьмы, лагеря. И побывать в так называемом бичёвнике. Наверное, в Томске он есть. Я так понимаю, что в каждом уважающем себя городе такое заведение есть. Это тюрьма для бродяг. Правда, она у нас называется как-то сложно, что-то пересыльный пункт для чего-то... Ну, это у нас умеют. У нас целые отделы сидят и думают над этим. Как замаскировать — не называть пьяницу пьяницей, вора — вором, а как-нибудь пообтекаемей. Тюрьма для бродяг — это при царе называлось. Откровенный у нас был царь, дурак. Там по 18 человек сидит в камере молодых людей. Зрелище невыносимое. Им предлагается всё — завтра выйти, пойти на любое предприятие. Везде в Сибири рабочих рук не хватает. Нет, им не нужно это. А ведь они все в школе учились, состояли в комсомоле, между прочим, читали “Как закалялась сталь” и “Молодую гвардию”. И вот они сидят в этом бичёвнике. Меня пора-

жает, как можно бросить свою жизнь псу под хвост? И в то же время мне начальник экспедиции геологической рассказал потрясающий случай. В Таймырской экспедиции Красноярского края шофёр ехал. Спустило колесо. Обычная история. Он приподнял домкратом машину, сменил колесо, и, когда убирал домкрат, ему придавило руку. Было пятьдесят градусов мороза. У него было сроку 15–20 минут, чтоб не замёрзнуть. Он зубами перегрыз себе руку, перевязал себя и доехал. И когда я смотрел на этих, в бичёвнике, спрашивал их: “Зачем вы здесь? Что вы тут делаете?”, то они сразу претензии, что, мол нас кормят плохо, медицинское обслуживание недостаточное. Все они больные: почки, там, печень ... Все пьют гадость, какую попало. А я никак не мог забыть этого человека, который, чтобы выжить, в течении 15 минут изорвал своё собственное тело, захлёбываясь кровью. И вот эти крайности уже не оставляют меня. Понять полусы в характере человека, постичь его душу ... Я не знаю, насколько мне это удастся, но такая задача сейчас стоит передо мной в этом небольшом романе. Главный герой — милиционер, которому перебили всё ноги и руки на этой службе великой.

И в это же время я работал над другой книгой. У меня был друг Алесандр Николаевич Макаров, большой и серьёзный критик. У меня было 50 его писем. Я жил в Перми, и он очень часто мне писал. Вот так случается у нашего брата-литератора, что полон дом дармоедов, а поговорить не с кем. И вот он вцепился в меня — молодого, жадного до общения парня. Познакомились мы на высших литературных курсах, и он мне писал письма, иногда очень большие, до 20 страниц. И когда я перечитал их, я понял, что эти письма не столько мне, сколько прорастают в нашу современность. И мне показалось интересным, чтоб эти письма знал не только я ...

Меня потрясает благодушие, бестревожность, какая-то способность забываться. Мне кажется, что у нас уже целое поколение, если не два, воспринимают наши рассказы о войне, как какую-то сказку про Иванушку-дурачка. Быть может, мы недостаточно талантливы, быть может, мы недостаточно хорошо об этом пишем, может, есть силы, которые сдерживают нас, чтобы мы не до конца вскрывали весь ужас войны этой. И я вас очень прошу не пропустить: появится в этом году в журнале “Сибирские огни” роман под названием “Джонни получил винтовку” американца Трамбо, переведенный почти на все языки мира. Я рекомендовал его “Сибирским огням”, поскольку нигде нельзя было больше напечатать. Переводил его Шрайбер, тот, который перевел “Трёх товарищей” Ремарка, очень хороший переводчик. Я думаю, что роман натолкнёт нас на то, что мы недостаточно правдивы и искренни в изображении войны. В документальном кино она одна, а когда дело касается бумаги — она другая, немножко комиссарская: грудью девочка комиссара закрывает так красиво ... Мы как-то забываем, что победу мы добыли огромнейшим потоком крови, страшной травмой нашей нации русской. Опустела Россия из-за потерь на войне и опустела из-за того, что мы бездарно воевали. Мы завалили немца бомбами, кровью утопили. И — победили, слава богу. Но не дай бог, чтобы ещё одна такая победа к нам пришла. Тогда нас просто не станет.

Я понимаю, каждому человеку и обществу хочется выглядеть лучше. Но это, на мой взгляд, совершенно не должно касаться писателя. Писатель, если он чувствует себя самостоятельно мыслящим человеком, заблуждается, прав или не прав — это не его дело. Он сам себе судья и господин. Он не может об этом молчать. Он должен го-

ворить с людьми на том языке, на котором способен говорить и высказаться до той правды, на которую он способен. И это я вам, по существу, рассказываю то, над чем сейчас работаю, — своё произведение “Зрячий посох”. Всё это очень сложно, и поэтому на работу ушло четыре года. Книга небольшая, а тем не менее — четыре года. И вообще, скажу вам, с возрастом жить труднее, думать тяжелее, а писать во сто крат труднее. Я завидую нашим советским писателям, которые пишут много, пишут хорошо, часто издаются. Порой меня охватывает желание полегче жить, или, как сказал Вася Белов в “Записках об Италии”, “жить по упрощённой задаче”. Мне кажется, у нашего общества сейчас очень ощутима тенденция жить по заниженной задаче. Я называю это “мелкобуржуазный коммунизм”: двух-трёх комнатная квартира, три замка на ней, палас, несколько хрусталин, дача в пригороде, там опять три-четыре замка, собака, две гряды с клубникой и — пропади всё пропадом! В обществе и вообще у нас в жизни произошла очень сложная деформация, но мы, как всегда, всё, что у нас происходит сложного, признаём задним числом. Будем скрывать до бесконечности, уже нарыв вот-вот прорвёт, всё-таки будем помалкивать, ещё кому-то боязно потерять место из-за этого.

Я как пример вам расскажу такое. Я работал в городской газете “Чусовской рабочий” в 50-х годах. Мы называли её “Очусовелый рабочий”. И мы в 58-м году попытались напечатать статью против алкоголизма. Пили и тогда там много уже, а в горячих цехах пить вообще ужас. Сейчас стали и в горячих пить. При какой-то больнице один врач поставил койки, какие-то уколы ставил, я не знаю, я выпивающий человек, но не пьяница, — не бывал там. Но я увидел, что несколько человек он вылечил. И он первый заявил, что это болезнь, но болезнь излечимая. И вот на эту тему мы нашим родным металлургам решили написать. Что вы думаете, нам это разрешили напечатать? Сразу разделились на два лагеря в горкоме: одни говорят, что надо печатать, другие — вы порочите советский образ жизни; ну, начинается наша демагогия, вы её каждый день слышите. Но у нас настырный был редактор Григорий Иванович Цепенёв, сел в поезд — и в Пермь. И там уж сколько он ходил по обкому, до кого уж добрался, я не знаю, но статья эта была в резолюциях, как веер в китайских значках “Разрешаю — не разрешаю”, наконец кто-то написал “Разрешаю”, подчеркнул красным карандашом, но “Сократить и углы пригладить”. И обязательно это у нас происходит, что до края дойдём, тогда уж — всё. Как штанами зацепишься за гвоздь в заборе, тогда уж загнуть его. Это не может не составлять и степени мучения живущего в этом обществе человека. Мне дорог мой народ, моё отечество. Всё, что у него болит, болит и у меня. Но у меня болит ещё, кроме всего прочего, когда врут. Когда врут бесконечно. Это уже привычный климат лжи. Я думаю, что общество, которое столько пролило крови, столько страдало, оно достойно уважения правдой, оно должно жить ощущением правды, порядочности, честности. Оттого, что мы молчим о преступности, преступников не убывает, оттого, что мы не говорим о пьяницах, пьяниц не меньше, а больше. И вообще, если болезнь замалчивать и не лечить, она приобретает агрессивную, тяжёлую форму. И я рад, что начал писать в период, когда существовала так называемая лакировочная литература. Литература уникальная в своём роде, нигде в мире небывалая и только закономерно рождённая у нас за счёт лжи, обмана. И вот общество всё же смогло преодолеть этот страшный недуг и прежде всего за счёт творческих потенциальных сил в своём народе. И я дожил до такого

счастья, когда литература возвысилась до правды, и рассказал народу эту правду, и от этого не пострадал никто; по-моему, просто стали себя чувствовать лучше, и какие-то изменения произошли не без влияния этой литературы, так называемой деревенской прозы. Правда, я бывал в Кремле у одного дяди, он говорит: я вот так разом прочёл, так, братцы, это сложная литература. Мы говорим: а у нас и жизнь сложная. И хотелось бы и дальше работать и дожить свой век на каком-то самоуважении и как-то вместе с вами поразмышлять о том, что происходит у нас. Эта настоящая литература подвигла наше общество к самоанализу, к попытке самоусовершенствования осознать себя, понять, что мы есть в этом мире. Даже уже и партийные и советские работники подвигать себя стали к правде. И я всё-таки верю в то, что мы доживём до такого времени, когда сможем откровенно смотреть друг другу в глаза. Если только это будет утеряно, общество наше переродится, оно имеет к этому тенденцию. Оно станет совершенно мне непонятным. Во всяком случае, не тем, за которое я воевал. Общество, в котором за горсть ягод бывший проректор института может перебить хребет четырёхлетнему ребёнку, меня совершенно не устраивает. Не за то, как говорится, боролись.

Всё-таки я верю в потенциальные возможности народа и думаю, что эти недуги окажутся преходящими. В общем-то, мы побеждали и не такое. Эти крайности — они преодолимы. Только каждый из нас должен взять на себя груз ответственности.

Много людей на встречах спрашивают у меня: как дальше жить? Чем жить? И я думаю: почему именно у меня? Может быть, потому, что я — сам того не ведая — дотронулся до каких-то болевых точек жизни. Только дотронулся, конечно.

О. И. Блинова

НЕЗАБЫВАЕМОЕ СОБЫТИЕ 1997 ГОДА — ВСТРЕЧИ С ВИКТОРОМ АСТАФЬЕВЫМ

В начале октября в Красноярске проходил I-й Международный съезд русистов, участниками которого были и диалектологи Томского государственного университета. Активное участие в работе съезда принял Виктор Астафьев. В дни работы съезда и состоялись встречи томских русистов с знаменитым писателем.

До встречи...

Наше знакомство с Виктором Астафьевым началось заочно: в ответ на подаренные писателю диалектные словари Среднего Приобья в наш адрес приходили благодарственные письма и книги Виктора Петровича с автографами. Один из них рукою автора написан на его книге "Так хочется жить": "О. И. Блиновой с поклоном и благодарностью за труд Великий, спасибо всему Вашему коллективу, и филфаку Вашему, и Университету. Дай Вам Бог сил и здоровья для трудов Ваших. В. Астафьев. 26 января 1996 г."

Выдвижение авторского коллектива диалектологов на соискание Государственной премии РФ за работу "Комплексное исследование русских говоров Среднего Приобья (1964–1995 гг.)", включавшую и среднеобские областные словари, Виктор Астафьев горячо поддержал, откликнувшись большой статьей "Очарованные словом". Статья была опубликована в нескольких центральных и местных изданиях. В ней он выразил боль за состояние современного русского языка (вторжение в русский язык американо-английского сленга, лексикона криминального мира, широкое распространение ненорматив-